

ву нужен был покой для творчества, его воплощение он видел в благоустроенной квартире, тепле, тишине, хорошей музыке... А. Вулис отмечает, что для русской и мировой литературы традиционен мотив покоя как одной из высших ценностей человеческого существования (4, с.24). Именно творческий покой должен обрести мастер в последнем приюте. Он пытался создать себе сам такой приют, выиграв в лотерею сто тысяч, купив книг и перебравшись в подвал, однако покоя не обрел – он не доступен в земной жизни. Достижение истинного покоя подвластно ведомству иных сил, отнюдь не человеческих. И дом, и сад, расположенные где-то между светом и тьмою, – заслуженная и давно ожидаемая награда для мастера. Возможно, действительно этот покой для него выше, чем традиционный свет.

Мотив покоя связан еще и с вневременной сутью мастера, он – вечный «скиталец». Образ скитальца, изгнанника, мечтающего о покое, где тихий дом, сад, свечи и музыка – это ли не свойственно романтизму? «Художник, подобно богочеловеку, – "скиталец" между землей и "вечным приютом". А "вечный дом" его – горные выси» (5, с.134). Описание мастера в конце романа приобретает черты другого, по мнению В. Немцева, настоящего мастера, с которого луна наконец-то сорвала покровы: «Волосы его были теперь при луне и сзади собрались в косу, и она летела по ветру. Когда ветер отдувал плащ с ног мастера, Маргарита видела на ботфортах его то потухающие, то загорающиеся звездочки шпор. Подобно юноше – демону, мастер летел, не сводя глаз с луны, но улыбался ей как будто знакомой хорошо и любимой, и что-то, по приобретенной в комнате № 118-й привычке, сам себе бормотал» (1, с.403). Этот мастер жил двести лет назад, как раз во время, когда формировалась романтическая традиция в литературе. Это время Мольера и Сервантеса, Гете и Гофмана, это время Канта. И в момент встречи мастера, Пилата и Воланда в потустороннем мире сливаются воедино ершалаимский и московский мир, время качественно меняется и становится вечностью. В этом контексте оказываются вечными судьбы Иешуа, мастера и самого Булгакова так же, как стоят вне времени роман о Понтии Пилате и роман о мастере и Маргарите.

Литература

1. Булгаков М. А. Мастер и Маргарита: Роман. Рассказы. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999.
2. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. 2-е изд. – М.: Искусство, 1986.
3. Яновская Л.М. Творческий путь Михаила Булгакова. – М., 1983.
4. Вулис А. В. Тема добра и зла в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита». – М., 2000.
5. Немцев В.И. Вопросы изучения художественного наследия М.А.Булгакова: учеб. пособие. – Самара, 1999.

Е.А. Юрьева

соискатель кафедры славистики и русской классической литературы
Литературного института им. А.М. Горького
г. Москва

Закон тайги и закон жизни в «Тунгусских рассказах» И. Гольдберга

Рассматриваются «Тунгусские рассказы» (1914) одного из крупнейших сибирских писателей И. Гольдберга, в центре которых трагическое столкновение древней эвенкийской цивилизации с цивилизацией современной.

E. Yurjeva

Laws of taiga and laws of life in I.Goldberg's «Tungus stories»

I. Goldberg – one of the famous Siberian writers. There are many problems of Siberian people we find in the «Tunguska stories» (1914). Writer show, what avenkes apply to nature and to people. In the conflict of the ancient and contemporary civilizations avenkes are condemn in to ruin.

Исаака Григорьевича Гольдберга (1884-1939) по праву считают одним из крупнейших писателей, зачинателем литературного движения Сибири, активным участником общественной жизни. К сожалению, судьбой ему было отпущено немного времени. «Талантливым, самостоятельным, оригинальным художником» называет И. Гольдберга Л.И. Шумидовский (1, с.619-620), очерк о его творчестве пишет виднейший иркутский исследователь В. Трушкин (2), ему посвящает П. Забелин одну из своих лучших книг «Путь, отмеченный на карте» (3).

Писательский путь И. Гольдберга начинается с рассказов о коренных народах Сибири. Пятилетняя ссылка на Нижнюю Тунгуску (1907-1912 гг.) за участие в нелегальной политической деятельности, знакомство с жизнью, нравами и обычаями тунгусов и эвенков дали Гольдбергу богатейший материал для художественного осмысления. Так рождается самая благодатная тема в творчестве иркутского писателя, разработка которой принесла ему литературную известность и сделала одним из самых известных писателей Сибири, которого сегодня незаслуженно забыли. К изображению жизни коренных народов Сибири И. Гольдберг возвращался на протяжении всей своей жизни. В 1914 г. он публикует книгу «Тунгусские рассказы», в 1923 г. выходит книга «Закон тайги», а в 1936 году большинство произведений тунгусского цикла входит в последнюю прижизненную книгу писателя «Простая жизнь. Рассказы об эвенках» (М.-Иркутск, 1936).

«Тунгусские рассказы» были встречены критикой очень благосклонно. В иркутской газете «Сибирь» рецензент К. Дубровский замечает: «Автор, видимо, близко и хорошо знаком с бытовыми условиями изображаемой им среды и – что самое главное – любит своих обиженных судьбою и людьми героев, жалеет их и умеет вызывать к ним сочувствие у читателя» (4, с.3). Критики отмечают, что небольшая книжка начинающего писателя должна «привлечь прежде всего колоритной новизной содержащегося в ней художественного материала, свежего и яркого и тревожно волнующего». Критика сразу отметила наблюдательность писателя, «пытливый ум, острый и зоркий взгляд, умеющий улавливать в хаосе жизни наиболее интересные штрихи и явления. Он талантлив и непосредствен, с темпераментом и страстностью настоящего хорошего беллетриста, не лишенного дара мыслить художественными образами, порою обвеянными мягким и нежным лиризмом» (5, с.3). И вот что обращает на себя внимание в советской критике: коренное население Сибири называют «инородцами», сочувственно говорят о «кошмарных картинах повседневного существования» эвенков и других северных народностей, и невольно возникает мысль о том, что инородцами нужно называть именно тех, кто пришел на исконные земли этих народов, обманывал, сплавлял, разрушил их быт, разрывал веками установившиеся связи.

Писателем движет желание понять «сущность» жизни коренных народов, стремление показать своеобразие их мироотношения, жизненной философии, особенностей взаимоотношения с природой, уловить отличие их жизненных установок от тех, которыми руководствуется человек, выросший в условиях современной цивилизации. Гольдберг писал о рассказе «Братья Верхотуровы»: «В этом рассказе, который многие считают лучшим из моих ранних произведений и который мне самому до сих пор кажется неплохим, меня захватила задача показать сущность таежного быта, того «закона тайги», к раскрытию которого я возвращался позже не один раз» (6, с.36).

Позже, осмысливая свои впечатления, Гольдберг рассказывал: «Таежная экзотика, таежные нравы, суровый и по-своему прекрасный пейзаж особенно сильно и крепко захватили меня, когда я столкнулся с туземцами, с коренными аборигенами тайги – тунгусами».

Перед писателем стояла довольно сложная задача – изобразить жизнь и быт представителей другой нации, проникнуть в психологию людей, жизнь которых в корне отличается от всего того, с чем до сих пор сталкивался писатель. Трудно избежать ошибочных толкований тех или иных обычаев, ценностных установок, аналогов которым нет в привычной для писателя действительности.

Гольдберг показывает, что главная трагедия коренного населения Сибири – в столкновении двух систем ценностей, двух цивилизаций, и победу одерживает не та, что чище и честнее, а та, что сильнее, напористее, циничнее. Вот почему рассказ «Последняя смерть» обретает символический смысл: не стая волков обступает со всех сторон беззащитный чум эвенка, а современная беспощадная цивилизация грозит гибелью всему, что было основой жизни семьи Селентура. В последней, отчаянной схватке двух цивилизаций древнейшая обречена на гибель – об этом сегодня, спустя столетие после описываемых событий, мы можем говорить утвердительно. Уже тогда Гольдберг предчувствовал такую развязку, и потому почти все его рассказы заканчиваются трагической смертью героев: замерзает Давыдиха, которую споила купчиха Пелагея Митриевна, чтобы забрать у нее всю добычу, погибает мальчик, ушедший в тайгу за оленем (рассказ «Олень»), кончает самоубийством обманутый и запуганный эвенк в рассказе «Правда».

повальная эпидемия косит людей в рассказе «Большая смерть». В этом конфликте все симпатии автора, его сочувствие – на стороне местных жителей. Повествование проникнуто огромной любовью к эвенкам, к их бесхитростной, но такой мудрой и наполненной жизни. «Своих, таких простых, незаметных и незатейливых героев автор любит живой, непосредственной любовью, любит искренне и просто, заставляя... и читателей полюбить их, почувствовать их несложные души, их маленькие радости и большие трагические печали и невзгоды», – отмечал критик (7, с.3).

В статье «Биография моих тем» Гольдберг формулирует свое первоначальное представление о движущих началах жизни: «Сущность «закона тайги», казалось мне, в упорном, почти зверином стремлении насаждать власть сильного и наиболее приспособленного, в жадном становлении жизни за счет слабейшего и почти высокомерном отношении к слабому и ко всякому проявлению слабости. В понятие «закона тайги» я вкладывал и все то специфическое, что характеризует таежную жизнь и неподчинение чему влечет к гибели» (8, с.532).

Конечно, писателя привлекала внешняя необычность, экзотика северного быта: «Коницкие чумы, удивительно гармонизировавшие с грядой невысоких гор и остроконечных, стремящихся ввысь елей и лиственниц. Легкий, воздушный рисунок упряжек: олени с ветвистыми рогами, впряженные в низенькие нарты. Преобладание в одежде пушистых оленьих шкур, то белоснежных, то серых, то пестрых – и окрашивавших и ездока, и оленя в одну гамму красок. Неизменный костер возле жилища и внутри – костер, огонь которого свидетельствует о жизни, о доме...» (9, с.36).

Но писатель стремится не только к описанию внешней живописной экзотики, ему важно уловить сущностные особенности необычной, новой для него жизни, создать произведения, в которых был бы отражен внутренний ритм этой жизни: «Во всем этом было такое, о чем хотелось писать, о чем хотелось рассказать в ритме и в словах, наиболее связанных с ритмами, с окраской и темпами этой жизни» (8, с.36). Это стремление воплотилось как в лексической гамме его рассказов, так и в особой их ритмической организации, передающей неспешную, «раздумчивую» речь эвенка, говорящего на чужом языке, но думающего на своем.

В рассказах сливаются два лексических пласта: русский литературный язык обогащается не только диалектизмами, но и эвенкийскими словами, придающими рассказам особый колорит (*шиптик* – подка, *карамон* – белка, *хуллаки* – лисица, *ниру* – друг, *бойе* – парень).

Гольдберг показывает, как в привычный, веками устоявшийся быт эвенков врывается современная цивилизация. С одной стороны, она приносит коренным народам некоторые удобства: новое, более совершенное оружие, предметы быта, новые для них продукты питания. С другой – это вторжение в любой момент грозит обернуться бедой. Драгоценную пушнину купцы просто выменивали на водку, и не знавшие алкоголя северные народы спивались мгновенно, что к концу XX в. закончилось почти полным вырождением целых племен и народов.

Жизнь семьи Селентура целиком зависит от того, приедет ли «Кирила Степанович, «друг» Селентура, доставлявший ему всю «покруту» и забиравший весь его промысел». Автор ничего не пишет о взаимоотношениях Селентура и Кирилла Степановича, но взятое в кавычки слово «друг» явственно указывает на сущность этих «взаимовыгодных» отношений: купец просто за бесценок, за выпивку, чай, табак, порох, забирал у него всю добычу. Не приехал «друг», и семья Селентура обречена на гибель – это цена за цивилизацию, привнесенную в жизнь «диких народов».

Закон тайги для эвенков означал закон жизни. Живущие в полном согласии с природными стихиями, следующие естественным законам жизни, они не всегда понимают юридические законы, которым следуют пришедшие на их землю люди. Сюжет рассказа «Закон тайги» строится именно на этом столкновении. Эвенк Бигалтар не поддается ни на какие уговоры и не соглашается отдать добычу купцу Бушуеву, так как дал слово своему «другу» Акептию Иванычу:

«Разгоревшись при виде хорошего промысла, Бушуев снова стал сговаривать эвенка произвести с ним мену. Но эвенк стоял упрямо на своем:

– Как у тебя покруту возьму? А мой друг Акептий Иванович?.. Нет, нельзя!» (10, с.278).

Бигалтар ни за какие посулы не соглашается нарушить слово – ведь это закон тайги, следовательно, и закон его жизни. Он даже не отвечает на брань, настолько это ниже его понятий о чести, достоинстве, благородстве. Не зная этих понятий, не раздумывая о них, Бигалтар поступает так, как велит ему его закон, и его мудрое спокойствие так явственно контрастирует с яро-

стью тех, кому не удалось его обмануть: «Наконец, увидев, что эвенк непреклонен, они обрушились на него бранью. Они ругали его родителей, его друга, его бога, и так, ругая молчаливого эвенка, они спихнули берестянку в воду и уплыли. И долго еще с реки неслись на берег их яростные крики.

Эвенк молча курил и глядел им вслед» (10, с.278-279).

Но буруемые страстью наживы люди не понимают и не принимают закона тайги, и Семен решает вернуться в чум Бигалтара, чтобы, убив хозяина, забрать у него добычу.

Законом тайги и жизни эвенков был и закон абсолютного доверия к людям, которые приходят в его дом – в тайгу, и потому Бигалтар не запирает двери, не прячет добычу: «Семен подошел к чуму и вздрогнул: над конусообразным жилищем не вился дымок, двери были плотно приперты снаружи свежесрубленными стягами и колодами. Было ясно, что эвенк покинул жилище.

С искаженным злобою и обидой лицом Семен раскидал стяги и колоды, откинул дверь и вошел в чум.

И там, сладко обожженный радостью, в полутьме он разглядел, что все, как было вчера, когда они приходили сюда с хозяином, осталось нетронутым, что под скатами жилища лежат кули и связки, что вся пушнина цела и никуда не унесена» (10, с.280).

Для вернувшегося из тайги хозяина это воровство было не просто отвратительно и непонятно – оно обрекало его на голодную смерть. Ведь «друг» Акемтий Иванович не даст без пушнины ни пороха, ни табаку, ни чая. С чем тогда останется Бигалтар? «Эвенк, хозяин чума и пушнины, уходивший в лес за берестой для новой берестянки, пришел в тот же день к своему жилищу и нашел разрушение. Он бросил с сердцем наземь свитки бересты, обежал вокруг чума, пнул с досады подвернувшуюся под ноги собаку и, опустившись на влажную прошлогоднюю траву, громко запричитал.

Он кидал в безмолвие весеннего дня самые обидные ругательства, самые жестокие проклятия посылал он на голову неизвестного вора.

– Белка ободранная, змея дохлая! – кричал он, задыхаясь от ярости, и его слушали мутная река, голубое вознесенное так высоко небо и тихие тальники. – Чтоб тебя водили по тайге харги*! Чтоб тебя сожгла в лесу болезнь огненная!.. Пойдешь по тропинке, и пусть она тебя не выведет из леса!.. Пусть перестанет стрелять твое ружье и отсыреет порох! Пусть настигнет тебя пожар лесной и скует стужа нестерпимая!..

Насытив этим криком свою ярость, он сходил к тальникам, где была спрятана лодка, и несколько уже не удивился, не найдя ее там. Он только внимательно разглядел следы на берегу и, заметив, в какую сторону ушла широкая борозда по песку, просиял» (10, с. 282).

Пустившись в погоню за грабителем, эвенк руководствовался не жаждой мести, а чувством оскорбленной справедливости и инстинктом самосохранения, и Гольдберг психологически точно и достоверно показывает, как инстинкт охотника, преследующего зверя, заглушает в нем все остальные чувства: «Он знал свой путь. Река так прихотливо извивалась, что местами образовала петли и тем удлинила свое течение. Он же скрадывал дорогу, перерезая перешейки и мысы, идя напрямик. Давешние ярость и огорчение при виде грабежа пропали. В душе родилось то же чувство сосредоточенности и радостной тревоги, которое билось там в дни большой охоты за сохатым или медведем.

Так же, как и тогда, он теперь чувствовал, что добыча, за которой он гонится, идет где-то впереди и что с каждым шагом расстояние между ним и ею уменьшается.

С каждым мегом**, который он пересекал по прямой, радость охотника разжигалась в нем сильнее. В нем крылся и еще не вырывался наружу трепет напавшего на верный след охотника. Но молчал он, и, как у бежавших впереди него без лая собак, сверкали глаза у него и раздувались ноздри» (10, с.282).

В этом действе человек, собаки и окружающая природа сливаются в единое целое: «Он порою приостанавливался и, напрягая слух, пытался что-то расслышать. И рядом с ним замирали собаки и нюхали воздух и поводили ушами.

* Харги – злые духи.

** Мег – речной полуостров.

Он передавал собакам kloкотавший в нем инстинкт хищника и сам заражался скрытою в них страстностью.

Собаки видели, что он осторожно и вместе с тем стремительно гонится за кем-то, и, в свою очередь, он чувствовал, что, раз выведенные и пущенные в погоню за тем, кого должно догнать, они уже не сойдут с верной дороги.

Так, объединенные одной задачей, они все – он и собаки – шли быстро вперед и все ближе подходили к Семену, который беспечно гнал берестянку по мутной, вспухнувшей реке» (10, с.282-283).

Но закон тайги нарушен в одном: здесь человек не должен охотиться на человека, и потому «была необычайная для тайги эта погоня человека за человеком». Поэтому опьяненный погоней охотник даже забыл, «за каким зверем он гонится», его кровь, «горячая и трепетная», «затуманила его голову», и когда он, «выйдя наконец из еловой чащи на берег, увидел на реке берестянку и в ней одинокого человека, то точно изумило его это, ошеломило.

Но длилось это так с ним мгновение-другое. Сразу вернулось сознание. Сразу радостно и вместе с тем злобно закричал он:

– О-эй!.. Стой!.. Эй, люча^{***}, стой!

Бигалтар требует вернуть то, что по праву принадлежит ему, и потому чувствует свою полную правоту: «Все давай, ниру!.. Неладно, люча! Неладно! – кричал эвенк и даже укоризненно качал головой». Но Семен живет по другим законам, ему «надоели эти переговоры. Он взял прислоненное к ближайшему дереву ружье и нацелился в эвенка:

«– Уходи, а не то угощу конфеткой!

Эвенк всплеснул руками:

– Ой, люча! Не надо ружье, не надо! Худо будет, люча!..

– Худо? – насмешливо переспросил Семен. – Ну, так проваливай, если худо.

И, продолжая целиться в эвенка, он пошел прямо на него».

По закону тайги Бигалтар вынужден защищаться: «Тогда эвенк хищно наклонился, быстро вскинул свое ружье и крикнул:

– Брось, люча, ружье, брось!..

Семен, не останавливаясь, захохотал. Но хохот его сразу пресекся. Грянул выстрел, и он, выпустив ружье из безвольно разжавшихся рук, тихо повалился на землю» (10, с. 284).

В происшедшем было нечто, что не позволяло воспринимать все как что-то правильное, соответствующее истинному закону тайги, а то, что защищаться пришлось человеку от человека и убить вынужден был человек человека и это почувствовали даже собаки: они «рванулись вперед и, заливаясь лая, наскочили на труп. Но, увидав человека, мертвого, безмолвного человека, они поджали хвосты, ошетинились и завyli» (10, с.285).

Гольдберг мастерски передает сущность мироотношения эвенка, динамику его размышлений, показывая, как тот относится к случившемуся. Бигалтару не жаль русского. Осмотрев труп – «великолепная рана, прямо в сердце!» – он спокойно садится к костру и пьет чай, который готовил на костре для себя убитый. Семен для него – «глупый русский», который не знает, наверное, для чего человеку ружье: «У человека зачем ружье! Промышлять в тайге. Ходи да стреляй. Ищи следы зверей, гони сохатого, белку с деревьев снимай... В тайге всем хватит! Совсем, совсем глупый русский! Хе...» (10, с.285).

Эвенк рассуждает вслух – чтобы слышали «духи лесные, которые непременно где-нибудь поблизости расселись безмолвно». Но потом «он задумался иначе. И не мог спугнуть новых мыслей», и в этих новых мыслях прорывается сочувствие и желание оправдать «глупого русского»: «Вот, – думал он, – зря мужик пропал. Какой харги сунул ему ружье в руки? Злой, поди. Сердился на него и нагнал на него мысль ружьем грозиться... Вот, – текла его мысль дальше, – как жадность его душу опалила! Теперь будет душа его бродить по тайге, и будут ею харги тешиться, и не сможет она спокойно промысел живого продолжать, жизнью прежнюю жить». А случилось это потому, что не принимал русский закон тайги, «не знал путей в тайге, потому что его обычай – не обычай эвенков» (10, с.285). В этих размышлениях Бигалтара фиксируется принципиальная разница ценностных систем, которыми руководствуется коренное население и которым подчиняются те, кто пришел на их землю. Как справедливо полагает П. Забелин, в

^{***} Люча – русский.

рассказе развиваются основные мотивы тунгусского цикла: «обличение носителей социального зла, изображение развращающей морали золота, которую принесли с собой дельцы и предприниматели, и поэтизация красоты естественных добродетелей и устремлений человека, сливающегося с природой» (3, с.55).

Главное, что заботит Бигалтара, – что делать с телом, и в том, как он решает эту проблему, проявляется то природное, естественное благородство, которое свойственно ему. Он понимает, что у Семена – «другой закон», по которому тело не подвешивают «меж высокими соснами, чтобы звери лесные не растаскали его костей», а «землю разгребают и туда кладут тело и еще что-то делают над ним». Поэтому он решает спрятать его в тайге, поехать в деревню и сказать «русским – пусть снаряжают убитого к предкам по-своему. А потом снова в тайгу, снова в тихие и влажные дебри леса». Прежде чем отправиться в путь, эвенк просит у мертвого прощения, объясняет ему, почему он так поступил: «Ты, друг, зла против Бигалтара не держи... Бигалтар видит – ты целишь в него, ну и выстрелил... Бигалтар бы не выстрелил – ты бы в него свой заряд пустил... Так ведь? Ты уж не сердись да сородичам своим там Расскажи, как было» (10, с.286). Это для него очень важно – чтобы в царстве мертвых знали, что он не убийца, он просто подчинялся закону тайги.

Каково же было изумление Бигалтара, когда оказалось, что он не соблюдал закон, а нарушил его, но только не закон тайги, а закон, по которому живут эти «глупые русские», и потому они «увезут его в далекий русский город, где большое начальство будет судить его, где разберут, должен ли был он убить Семена или нет.

Тревожно слушал все это Бигалтар и молчал, но про себя думал:

«Как не стрелять в него, если он целит? Я не буду стрелять – он выстрелит! Кровь на кровь... Как не стрелять?!» (10, с.286).

И еще в одном проявляется разница нравственных установок Бигалтара и заперших его в пустую баню мужиков: они соблюдают свой закон потому, что так нужно, а он – потому, что по-другому не может: «Приходили в баню мужики, курили молча или, жалея его, говорили:

– Эх, Бигалтар, пошто ты из тайги своей сюда полез? Кто бы тебя там ловил? А теперь майся!..

Но не понимал Бигалтар их слов. Не понимал, почему не должен был выходить из тайги.

– Худо ты, дружок, сделал, – говорили свое мужики, – худо!» (10, с.286).

Не понимает этого Бигалтар: как можно жить не по закону, говорить одно, а поступать по-другому, нарушать закон только потому, что это выгодно. И вдруг оказывается, что цивилизованные, образованные, полагающие себя культурными люди не понимают элементарных нравственных законов, которыми руководствуются те, кого они считают темными, необразованными, дикими «инородцами».

«Как худо!» – кипело все внутри Бигалтара. Разве не всегда так в тайге: медведь подстерегает сохатого, и тот со всех своих последних сил отбивается от врага. Волки кидаются на добычу, и она, спасая жизнь свою, идет на все. Два коршуна бьются из-за утиных птенцов, и тот, кто половчей да посильней, одолевает. Человек идет на медведя, и если оробеет, то сгребет его старик и спасется... Так всегда в тайге... Русский сделал зло Бигалтару. Русский поднял ружье на него и хотел стрелять, и убил бы его. Разве худое что-нибудь сделал Бигалтар, защитив себя? И разве Бигалтар, как волк, задрал добычу, бросил ее кости среди леса, на позорище другим зверям? Ведь вот убрал он труп и пришел сюда сказать – пусть почитают мертвого его родичи... Где худо?...» (10, с.287).

Бигалтар обречен – вряд ли вновь попадет он в родную ему тайгу, «к своей речке, к родному приволью...». Обречен тот уклад жизни, в котором веками сосуществовали человек и природа, ничего не нарушая и не разрушая.

Мастерство писателя проявляется в умении подать очень сложный с этнографической точки зрения материал и при этом нигде не «перегнуть палку», перегрузив речь диалектизмами или экзотическими подробностями. В последнем внутреннем монологе Бигалтара чувствуется особый ритм неспешной, точной, выразительной речи эвенка, в которой нет лжи и притворства, подтекста или скрытого смысла, так как он знает – человека обмануть можно, но нельзя обмануть природу и духов, которые управляют человеческой жизнью и жизнью природы. Ритмически соразмерно жизни и речи героя описание природы, частью которой является герой: «Небо

подернулось полупрозрачной сетью и надвинулось в предвечерней дреме на хребты; мутная река плескалась о тальники и играла их гибкими телами; огонь костра растекался по золотым углям и нежил пушистую золу, и сизый дым кудрявился над костром, над тунгусом и таял в вышине. И этому небу, этой реке, и костру, и тальникам, и изменчивому дыму тунгус рассказывал свои мысли» (10, с.285). Создавая характер своего героя, автор не пользуется привычными приемами. Нет портрета, авторской характеристики и т.п. Правду о герое мы узнаем лишь из его поступков, из его речи.

Внутренний мир Бигалтара покажется европейцу простым, даже примитивным, его быт представится убогим, но эта простота жизни, природы и бытия подчинена единому нравственно-природному закону, где внешнее и внутреннее не вступает в противоречие, где действует единый закон – закон тайги, закон жизни.

Литература

1. Русские писатели: 1800-1917. Биографический словарь. Т. 1. – М., 1989.
2. Трушкин В.П. Исаак Гольдберг // Трушкин В.П. Литературный Иркутск. – Иркутск, 1981.
3. Забелин П. Путь, отмеченный на карте. – Иркутск, 1971.
4. Сибирь. – 1914. – 11 янв.
5. Скальд. Тунгусские рассказы // Сибирская жизнь. – 1914. – 4 февр.
6. Будущая Сибирь. – 1933. – № 3.
7. Скальд. Тунгусские рассказы // Сибирская жизнь. – 1914. – 4 февр.
8. Гольдберг Ис. Поэма о фарфоровой чашке. – М., 1965.
9. Будущая Сибирь. – 1933. – № 3.
10. Гольдберг Ис. Сладкая полынь. – Иркутск, 1964.

О.Ю. Ващутина

преподаватель русского языка Омского танкового инженерного института
г. Омск

Заповеди «деревенской прозы» в стихах «шестидесятника» Н. Кузнецова

Лирическая поэзия омского поэта-«шестидесятника» Николая Кузнецова и «деревенская проза» 1960-1970-х гг. рассматриваются как явления, типологически близкие.

O. Vashutina

Village «country prose» in the lyric poetry of N. Kuznetsov – the man of the sixties

The author of the article says that the lyric poetry by Omsk poet the man, of the 60-s, Nikolai Kuznetsov and «the «country prose» of the 60-70 of the 20 th century are typologically related.

В 70-е гг. из поэтов «эстрады», пожалуй, лишь так называемые барды пытались преодолеть эклектизм исторического времени, его духовную несостоятельность проповедью музыкально-романтического идеала рыцарского благородства (Б. Окуджава), личного мужества, риска (В. Высоцкий). Однако этот идеал был взят как бы со стороны, из другого времени: он минует современную конфликтность, не разрешая ее, а заменяя собой. Это был идеал в чистом (сказочно-балладном) виде, освобожденный от реально-исторической сложности.

Альтернатива изживающим себя ценностям была найдена, но не поэзией. Это открытие принадлежало прежде всего прозе. Таким открытием в конце 50-х годов стала проза о деревне, представленной как субстанциональное начало русской жизни, как исток и почва духовной целостности, непреложных нравственных основ.

Поэзия в целом, как отметил А. Павловский, «пошла в эти годы по пути, открытому прозой (1, с.211). Не случайно эволюция многих «тихих» лириков произошла совершенно стремительно как простая смена событий. Поэтическим устремлениям «тихих» не свойственна была ориентация на философскую мысль. Ситуацию драматической разобщенности мира «тихие» чувствовали, но не пытались осмыслить: они просто возвращались памятью к прошлому родины, к собственному миру детства. Именно память стала всепоглощающим пафосом их поэзии. Возвращение к детству, юности, непосредственно связанных с природным миром родины, позволяло сохранить единство «я» и «идеала» (природы-родины).